

1. Неудачный литературный дебют

25 июля 1839 года петербургский цензор Фрейганг подписал к выпуску в свет тетрадь стихотворений, имевших общий заголовок "Мечты и звуки". Автору их было всего лишь семнадцать лет от роду, хотя перед тем он успел уже напечатать, за полной своей подписью - Н. Некрасов, целый ряд стихотворений в "Сыне Отечества", в "Литературной газете" и в "Прибавлениях к "Инвалиду"". Некоторые из этих юношеских опытов даже обратили на себя внимание любителей поэзии.

После цензурного разрешения можно было приступить к печатанию книги, но, как рассказывал впоследствии сам Некрасов, им овладели тревожные сомнения, и он решил показать раньше свою рукопись признанному королю тогдашних поэтов - Жуковскому. Последний отнесся к юному собрату с теплым сочувствием, увидав в его стихах несомненные задатки поэтического дарования, однако печатать книгу не советовал. К сожалению, было уже поздно: среди знакомых Некрасова прошла на сборник его стихов подписка, и часть полученных от нее денег была израсходована.

- В таком случае, - сказал Жуковский, - не выставляйте, по крайней мере, полного вашего имени на книге. Ограничьтесь инициалами.

Совет этот Некрасов принял к сведению, и в начале следующего года "Мечты и звуки" явились в свет за скромной подписью Н. Н.

Книг выходило в те времена сравнительно немного, и круг вопросов, которых журналы имели право касаться, был до чрезвычайности узок; почти о каждой напечатанной книжке, как бы ничтожно ни было ее значение, непременно появлялись поэтому более или менее пространственные рецензии. "Мечты и звуки" Некрасова не составили исключения из общего правила и вызвали целую кучу отзывов: в "Литературной газете", в "Отечественных записках", в "Современнике", в "Северной пчеле", даже в "Русском инвалиде" и в "Журнале Министерства народного просвещения" (из видных органов промолчал, кажется, один только "Сын Отечества" Полевого, быть может, потому, что на его страницах Некрасов по преимуществу печатал свои стихи). В "Журнале Министерства народного просвещения" стихотворец Менцов, очевидно знавший о возрасте автора книги "Мечты и звуки", дал один из наиболее сочувственных отзывов: рецензент исходил из того мнения, что при разборе сочинений столь юного поэта задача критики не в определении их литературной ценности и значения, а лишь в решении вопроса - есть ли у поэта признаки таланта, обещает ли он в будущем создать произведения, достойные внимания и памяти. "И потому да не дивятся читатели, - замечал Менцов, - если мы будем судить г-на Некрасова (критик считал возможным разоблачить инициалы. - Авт.) снисходительнее, нежели, может быть, следовало бы: похвалами умеренными и справедливыми мы имеем целью ободрить его прекрасный талант и поощрить к дальнейшим трудам в пользу отечественной словесности". Далее рецензент осыпал похвалами отдельные пьесы сборника, защищал юного автора от возможных упреков в подражательности и, в заключение, предрекал Некрасову завидную известность и почетное место в истории русской литературы, под тем, впрочем, условием, если он будет "развивать свое природное дарование изучением творений поэтов, признанных великими от всего просвещенного мира, и чтением лучших Теорий Изящного".

Такою же мягкостью проникнута была и коротенькая заметка "Современника", написанная, вероятно, самим Плетневым:

"Здесь не только мечты и звуки, как выразился поэт, но и мысли, и чувства, и картины. Книжка, заключающая в себе почти одни лирические стихотворения, исполнена разнообразия. В каждой пьесе чувствуется создание мыслящего ума или воображения. Наша эпоха так скудна хорошими стихотворениями, что на подобные явления смотришь с особенным удовольствием. У г-на Н. Н. заметна только некоторая небрежность в отделке стихотворений".

Плетнев, несомненно, тоже хорошо знал, кто скрывается под таинственными инициалами; но автор третьей рецензии, помещенной в "Северной пчеле", прямо заявляет, что имя поэта ему "вовсе неизвестно", что оно, "кажется, в первый раз является в нашей литературе". И, тем не менее, подобно рецензенту "Журнала Министерства народного просвещения", рецензент "Северной пчелы" начинает с положения, что снисходительность - одно из главных условий критики, имеющей перед собою первые опыты юношеского пера, особенно когда в них приметно дарование, которое впоследствии может развернуться; дарование же Н. Н., по мнению критика, не подлежит никакому сомнению и возбуждает самые приятные надежды. Как и Менцов, он ставит лишь на вид юному поэту необходимость "образовать свой талант долгим изучением искусства и непрерывным наблюдением за самим собою".

Далеко не так легко и снисходительно отнесся к "Мечтам и звукам" анонимный критик "Литературной газеты" (где Некрасов не раз помещал перед тем свои стихи), а равно и Белинский в "Отечественных записках". Оба отзыва до того сходны по мыслям, по тону и самому слогу, что и в первом из них можно было бы заподозрить перо Белинского (тем более что последний сотрудничал и в "Литературной газете"), если бы не существовало прямых указаний на принадлежность этой рецензии Галахову.

"Особенность подобных г-ну Н. Н. поэтов и писателей вообще, - говорилось в рецензии, - заключается в том, что они суть нечто до тех пор, пока не издадут полного собрания своих сочинений: тогда они становятся ничто". "Название Мечты и звуки совершенно характеризует стихотворения г-на Н. Н.: это не поэтические создания, а мечты молодого человека, владеющего стихом и производящего звуки правильные, стройные, но не поэтические".

Почти то же и почти в тех же выражениях высказал и Белинский в "Отечественных записках". Если проза может еще удовлетворяться гладкой формой и банальным содержанием, то "стихи решительно не терпят посредственности". Читая такие стихи, вы чувствуете иногда, что автор их - человек несомненно благородный и искренний, но в то же время видите, что эти благородные чувства "... так и остались в авторе, а в стихи перешли только отвлеченные мысли, общие места, правильность, гладкость и - скука. Душа и чувство есть необходимое условие поэзии, но не ими все оканчивается: нужна еще творческая фантазия, способность вне себя осуществить внутренний мир своих ощущений и идей и выводить вовне внутренние видения своего духа... Прочтешь книгу стихов, встретишь в них все знакомые и истертые чувствованья, общие места, гладкие стишки и много-много, если наткнешься иногда на стих, вышедший из души в куче рифмованных строчек, - воля ваша, это чтение или, лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики, для которой довольно прочтешь о них в журнале известие, вроде: выехал в Ростов".

Мы потому так подробно остановились на шуме, вызванном в литературе первым поэтическим выходом Некрасова, что шум этот, несомненно, оказал большое и существенное влияние на дальнейшую судьбу поэта. Авторитетный отзыв Белинского, высказанный в марте 1840 года, сразу заглушил все сочувственные голоса, и о "Мечтах и звуках" установилось с тех пор прочное мнение как о книжке стихов до последней степени ничтожных и бесталаных.

"Интерес книжки в том, - читаем в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (в статье С. А. Венгерова), - что мы здесь видим Некрасова в сфере совершенно ему чуждой, в роли сочинителя баллад с разными страшными заглавиями, вроде "Злой дух", "Ангел смерти", "Ворон" и т. п. "Мечты и звуки" характерны не тем, что являются собранием плохих стихотворений Некрасова и как бы низшей ступенью в творчестве его, а тем, что они никакой стадии (курсив словаря. - Авт.) в развитии таланта Некрасова собою не представляют. Некрасов, автор книжки "Мечты и звуки", и Некрасов позднейший - это два плюса, которых нет возможности слить в одном творческом образе".

На самого поэта приговор Белинского и Галахова подействовал между тем самым угнетающим образом: с этого, по крайней мере, момента, как будто уверившись в своей поэтической бездарности, он в продолжение нескольких лет пишет стихи только юмористического характера, главным же образом - пытается силы в области прозы. Как известно, в роли беллетриста и критика Некрасов далеко не пошел, и в смысле непосредственной

ценности литературное творчество его за пятилетие (1840-1844) является совершенно бесплодным. Другое дело - незримая, подспудная, так сказать, работа таланта, когда, сдерживаемый насильно в известных рамках, он судорожно бился в поисках своей настоящей дороги: указанные годы имели, конечно, огромное значение для определения основного характера некрасовской поэзии. Об этом, впрочем, ниже; теперь же остановимся на минуту на возникающем невольно вопросе: насколько был прав или неправ Белинский в суровом осуждении первых поэтических опытов Некрасова? И верно ли державшееся до сих пор мнение, будто опыты эти не стоят решительно ни в какой связи с позднейшим обликом "музы мести и печали"?

Взятая сама по себе, книжка "Мечты и звуки", несомненно, очень слаба, так что у Белинского (к тому же только что переехавшего из Москвы в Петербург и не подозревавшего, что Некрасов еще так зелен) было очень мало данных для того, чтобы отнестись к ней как-нибудь иначе. Другое дело - критика наших дней. Для нас "Мечты и звуки", - если бы это была и действительно вполне бездарная в художественном отношении книга, - имеют интерес совершенно особого рода: это - первый опыт поэта с могучими поэтическими силами, и крайне любопытно знать, нет ли в этом опыте, хотя бы и в зачаточном виде, элементов того настроения, которое так ярко сказалось в его позднейшем творчестве. Подходя к вопросу с такой точки зрения, рассматривая "Мечты и звуки" с высоты почти семидесяти лет, мы должны признать чересчур суровым приведенный выше отзыв С. А. Венгерова. Прежде всего, нельзя сказать, что в "Мечтах и звуках" Некрасов является в роли сочинителя страшных баллад, так как баллад этих (не по заглавию только страшных) в книжке ничтожное меньшинство, всего две-три из общего числа сорока четырех пьес; а затем нужно заметить, что уже самая нелепость содержания и примитивность формы обличают их принадлежность к наиболее раннему, отроческому периоду творчества Некрасова. Со слов сестры поэта известно, что, покидая шестнадцатилетним мальчиком отцовский дом, он увез с собою толстую тетрадь с детскими стихотворными упражнениями. ("За славой я в столицу торопился", - вспоминал он на смертном одре). Это было 20 июля 1838 года, а с сентябрьской книжки "Сына Отечества" за тот же год стихи Некрасова уже стали печататься.

Позволительно также предположить, что молодой поэт, уже сумевший перед тем написать незаурядное стихотворение "Жизнь", и поместил-то эти баллады в свой сборник единственно ради внешнего его округления, а быть может, и ради... умиловивления безмерно строгой тогда цензуры. Следы ее властной руки можно найти в этом сборнике не только в виде разбросанных там и сям точек. Так, в стихотворении "Поэзия" читаем:

Я владею чудным даром,
Много власти у меня,
Я взволную грудь пожаром,
Брошу в холод из огня;
Разорву покровы ночи,
Тьму веков разоблачу,
Проникать земные очи
В мир надзвездный научу...
Возложу венец лавровый
На достойного жреца
Или в миг запру в оковы
Поносителя венца.

Не надо обладать особенной проницательностью, чтобы догадаться, что последний стих в первоначальном тексте читался, по всей вероятности: "Я носителя венца", и что печатной своей нелепой формой он обязан мнительности цензора Фрейганга, которому всякий "венец" (хотя бы то был венец Нерона) казался чем-то неприкосновенным. Быть может, об этой именно остроумной цензорской поправке вспоминал Некрасов двадцать пять лет спустя, когда в уста не в меру ретивого стража печати вкладывал следующее признание:

Да! меня не коснутся упреки,
Что я платы за труд вас лишал.
Оставлял я страницы и строки,

Только вредную мысль исключал.
Если ты написал: "Равнодушно
Губернатора встретил народ",
Исключу я три буквы: "Радушно"
Выйдет... Что же? Три буквы не в счет!

[Тургенев вспоминает: "Особенным юмором отличался цензор Ф., тот самый, который говаривал: "Помилуйте, я все буквы оставлю, только дух повытравлю". Он мне сказал однажды, с чувством глядя в глаза: "Вы хотите, чтоб я не вымарывал? Но посудите сами: я не вымараю - и могу лишиться трех тысяч рублей в год, а вымараю - кому от этого какая печаль? Были словечки, нет словечек... Ну, а дальше? Как же мне не марать?! Бог с вами!" ("Литературные и житейские воспоминания"). Очевидно, Тургенев имел в виду того же Фрейганга.

Здесь и далее звездочкой со скобкой обозначены примечания автора, а простой звездочкой - примечания редактора данного переиздания.]

Если заодно со "страшными" балладами исключить из сборника и некоторое количество просто бесцветных и бессодержательных детских стишков, вроде "Турчанки" (у которой кудри - "вороновы перья, черны, как гений суеверья, как скрытой будущности даль") или "Ночи" ("Ах туда, туда, туда - к этой звездочке унылой чародейственной силой занеси меня, мечта!"), то большинство пьес книги окажется проникнуто весьма определенным взглядом на жизнь, на достоинство и призвание человека, поэта в особенности, - взглядом, который ни в каком случае нельзя назвать "полюсом, противоположным" позднейшей некрасовской поэзии.

Вот, например, диалог, в котором душа в ответ на соблазны тела гордо заявляет:

Прочь, искуситель! Не напрасно
Бессмертьем я освящена!
.....
И хоть однажды, труп бессильный,
Ты мне уступишь торжество!

В другом стихотворении великолепный некогда, а теперь разрушенный Колизей находит утешение в мысли, что хотя он и погиб, но уже много столетий стоит, не обрызганный живой человеческой кровью. Или - стихотворение "Мысль":

Спит дряхлый мир, спит старец обветшалый...
Скрой безобразье наготы
Опять под мрачной ризой ночи!
Поддельным блеском красоты
Ты не мои обманешь очи.

Все это выражено, правда, по-детски, в неярких и подчас аляповатых стихах; однако сквозит во всем этом серьезное, вдумчивое отношение к жизни; уже и здесь перед нами не просто лишь созерцательная поэтическая натура, непосредственно и безразлично отдающаяся "всем впечатленьям бытия", а мыслящая душа, предъявляющая к жизни свои требования и запросы.

Вот какие негодующие строки находим, например, в стихотворении "Жизнь":

Из тихой вечера молитв и вдохновений
Разгульной оргией мы сделали тебя *[то есть жизнь.]*,
И губительно парит над нами злобы гений,
Еще в зародыше все доброе губя.
Себялюбивое, корыстное волнение
Обуревают нас, блаженства ищем мы,
А к пропасти ведет порок и заблуждение

Святою верою нетвердые умы.
Поклонники греха, мы не рабы Христовы;
Нам тяжек крест скорбей, даруемый судьбой;
Мы не умеем жить, мы сами на оковы
Меняем все дары свободы золотой.
... Искусства нам не новы:
Не сделав ничего, спешим мы отдохнуть;
Мы любим лишь себя, нам дружество - оковы,
И только для страстей открыта наша грудь.
И что же, что оне безумным нам приносят?
Презрительно смеясь над слабостью земной,
Священного огня нам искру в сердце бросят
И сами же зальют его нечистотой!
За наслажденьями, по их дороге смрадной,
Слепя, мы идем и ловим только тень;
Терзают нашу грудь, как коршун кровожадный,
Губительный порок, бездейственная лень.
И после буйного минутного безумья,
И чистый жар души, и совесть погубя,
Мы с тайным холодом неверья и раздумья
Проклятью предаем неистово тебя!

Стихи эти, правда, слишком явно навеяны страстным обвинением, которое великий поэт бросил перед тем в лицо русскому обществу ("Дума" Лермонтова появилась в том же 1839 году в январской книге "Отечественных записок", то есть всего за полгода до цензорского разрешения сборника "Мечты и звуки"); и тем не менее нельзя отрицать, что в "Жизни" Некрасова слышится и оригинальная нота, искренний религиозный пафос; некоторые стихи не лишены и известной красоты и силы выражения. Во всяком случае, так может "подражать" далеко не всякий семнадцатилетний стихотворец...

Самую миссию поэта юный Некрасов понимает в возвышенном, почти экзальтированном смысле:

Кто духом слаб и немощен душою,
Ударов жребия могучею рукою
Бесстрашно отразить в чьем сердце силы нет,
Кто у него пощады вымоляет,
Кто перед ним колена преклоняет,
Тот не поэт!
Кто юных дней губительные страсти
Не подчинил рассудка твердой власти,
Но, волю дав и чувствам, и страстям,
Пошел, как раб, вослед за ними сам,
Кто слезы лил в годину испытанья
И трепетал под игом тяжких бед,
И не сносил безропотно страданья,
Тот не поэт!
На Божий мир кто смотрит без восторга,
Кого сей мир в душе не вдохновлял,
Кто пред грозой разгневанного Бога
С мольбой в устах во прах не упал,
Кто у одра страдающего брата
Не пролил слез, в ком состраданья нет,
Кто продает себя толпе за злато,
Тот не поэт!
Любви святой, высокой, благородной
Кто не носил в груди своей огня,
Кто на порок презрительный, холодный
Сменил любовь, святыни не храня;

Кто не горел в горниле вдохновений,
Кто их искал в кругу мирских сует,
С кем не беседовал в часы ночные гений -
Тот не поэт!

Не думаем, чтобы эти мысли были плодом одного только подражания романтической школе: в значительной степени это искренние юношеские мечты о высоком призвании писателя. Из другого стихотворения ("Изгнанник") мы узнаем, что уже рано действительность грубою рукою прикоснулась к светлым мечтаниям поэта и он "очутился на земле".

Ты осужден печать изгнанья
Носить до гроба на челе, -
сказал ему тогда таинственный голос, -
Ты осужден ценой страданья
Купить в стране очарованья
Рай, недоступный на земле!

И поэт не теряет бодрости; он даже полюбил свой крест:

Теперь отрадно мне страдать,
Полами жесткой власяницы
Несчастий пот с чела стирать!

За туманно-романтической формой как будто чувствуется здесь и нечто автобиографическое (печальное детство; разрыв с отцом, бросившим юношу-поэта почти нищим на мостовой большого города), как будто слышится искренняя нота горделивой уверенности в том, что, и "очутившись на земле", он не утратил стремления к идеалу: хотя бы "ценой страданья" он придет все же в обетованную землю!

Красавица, не пой веселых песен мне!
Они пленительны в устах прекрасной девы,
Но больше я люблю печальные напевы... -

читаем в другой пьесе, интересной в том отношении, что здесь впервые выступает образ матери Некрасова, воспетый им позже в таких чудных трогательных стихах. Унылый напев, объясняет поэт, в особенности мил ему потому,

Что в первый жизни год родимая с тоской
Смиряла им порыв ребяческого гнева,
Качая колыбель заботливой рукой;
Что в годы бурь и бед заветною молитвой
На том же языке молилась за меня;
Что, побежден житейской битвой,
Во власть ей отдался я, плача и стена...

Следует еще отметить глубокую религиозность, характеризующую сборник "Мечты и звуки". В каждом почти стихотворении встречаем упоминание о Боге, о молитве, о необходимости "путь к знаниям верой осветить" и "разлюбить родного сына за отступление от Творца". Дух сомнения представляется Некрасову злым духом, и он советует не вверять сердца "его всегда недоброму внушенью":

Порыв души в избытке бурных сил,
Святой восторг при взгляде на творенье,
Размах мечты в полете вольных крыл,
И юных дум кипучее паренье,
И юных чувств неомраченный пыл -
Все осквернит печальное сомненье!

Напомним еще раз читателю, с какой точки зрения оцениваем мы "Мечты и звуки", резюмируем теперь наше общее впечатление. Книжка эта является, по нашему мнению, не столько продуктом сознательного литературного подражания романтической школе, сколько зеркалом детски неопытной и наивной, но глубоко искренней, религиозно и поэтически настроенной юной души. Слабые в художественном отношении, стихи эти обнаруживают тем не менее богатый запас нетронутой душевной силы и свежего чувства. Позднейшему, знаменитому Некрасову, кроме плохой формы, положительно нечего в них стыдиться: по альтруистически возвышенному настроению своему "Мечты и звуки" являются именно подготовительной, "низшей стадией" его творчества, отнюдь не звучащей в нем диссонансом. И нам кажется, что знакомство с этой "детской" книжкой Некрасова делает менее странным факт "внезапного", как обыкновенно думают, превращения посредственного рассказчика и куплетиста в первостепенного лирика.

Отметим в заключение одну любопытную черту, касающуюся внешней формы стихов сборника "Мечты и звуки". Оказывается, что уже в эту раннюю пору Некрасов не питал такого исключительного пристрастия к ямбу, как Пушкин и поэты его школы: из сорока четырех пьес сборника ямбом написана лишь половина, другая половина - амфибрахием, дактилем и хореем (нет только излюбленного впоследствии Некрасовым анапеста). Встречаются уже и столь характерные для позднейшего Некрасова трехсложные рифмы:

Мало на долю мою бесталанную
Радости сладкой дано.
Холодом сердце, как в бурю туманную,
Ночью и днем стеснено.
В свете как лишний, как чем опозоренный,
Вечно один я грущу...

Довольно часты также рискованные рифмы, которыми поэт и впоследствии не брезговал: буду - минуту, слепо - небо, брата - отрада и т. п.